## Твоё здоровье

## Айзек Азимов

Перевод Н. Берденникова.

Я чихнул.

Джордж резко отшатнулся в сторону и осуждающе спросил:

— Снова простудились?

Я громко высморкался, правда, мое состояние при этом не улучшилось, и произнес, несколько глухим от прижатого к лицу платка, голосом:

— Это — не простуда, а синусит.

Я пристально посмотрел на остатки кофе в чашке, словно это именно они были виноваты в том, что лишились вкуса.

— Это у меня четвертая вспышка синусита с начала года. Каждый раз я теряю чувство вкуса и запаха на более или менее продолжительное время. В данный момент для меня все безвкусно, и обед, который мы только что съели, мог бы быть приготовлен из картона.

— Вам станет лучше, — спросил Джордж, — если я скажу, что каждое из блюд было превосходным?

— Ни в малейшей степени, — с раздражением произнес я.

— Я от подобных недугов не страдаю, — сказал Джордж, — и объясняю это исключительно добропорядочным образом жизни и чистой совестью.

— Благодарю за сочувствие, — сказал я, — но предпочитаю думать, что вы избегаете подобных бед просто потому, что ни один уважающий себя микроорганизм не согласится жить в вашем нечестивом теле.

— Старина, — сказал Джордж, несколько более возмущенным тоном, чем того требовала ситуация, — я не обижаюсь на ваше злобное замечание только потому, что понимаю: недуги портят характер. В здравом уме, если бы вы когда-нибудь им обладали, вы бы не позволили себе подобной выходки. Вообще, все это сильно напомнило мне моего старого друга Манфреда Дункеля в тот период, когда он соперничал со своим старым приятелем Эбсаломом Гелбом за благосклонность прелестницы Эвтерпы Вайс.

— Да наплевать мне на вашего старого приятеля Манфреда Дункеля, его старого приятеля Эбсалома Гелба и предмет их притязаний Эвтерпу Вайс, — заявил я мрачным тоном.

— Старина, это говорите не вы, а ваш синусит, — произнес Джордж.

Манфред Дункель и Эбсалом Гелб являлись, по словам Джорджа, слушателями Нью-Йоркского института оптиков. Там между двумя молодыми людьми быстро завязалась дружба. Разумеется, двое молодых людей не могли не почувствовать себя братьями, ведь они разгадывали тайны линз и рефракции. Вместе занимались тяжелыми случаями миопии, пресбиопии и гиперметропии.

Они изучали оптометрические таблицы. Разрабатывали новые для тех пациентов, которые были не знакомы с кириллицей или греческим алфавитом. Выбирали идеограммы для жителей Востока. Обсуждали, как могли обсуждать только специалисты, достоинства и преимущества использования специальных знаков: тупых и акутовых ударений, диактрических знаков и седилий для французов; умляутов для немцев, тильдов для испанцев и так далее. Как однажды весьма эмоционально заявил мне Эбсалом, отсутствие таких специальных знаков было проявлением чистого расизма, что, в свою очередь, приводило к несовершенной коррекции зрения у пациентов, не отличавшихся чистым англосаксонским происхождением.

Несколько лет тому назад титаническая борьба по данному предмету заполняла колонку писем в «Американском журнале оптической казуистики». Может быть, ты помнишь написанную совместно нашими друзьями статью, в которой они громили старые таблицы. Называлась она: «Глаз! Вырви этот подслеповатый символ!» Манфред и Эбсалом стояли плечом к плечу против общего консерватизма профессии и, хотя не достигли в этом значительных успехов, подружились еще крепче.

Окончив институт, они основали фирму «Дункель и Гелб», подбросив монету, чтобы решить, чья фамилия будет стоять первой. Чрезвычайно процветали. Возможно, Дункель лучше умел шлифовать поверхности до идеального состояния, но Гелб был признанным мастером изготовления очков в стиле ар деко. Как любили говорить о них, они на все смотрели одними глазами.

Неудивительно, что и влюбились они в одну женщину. Эвтерпа Вайс пришла заказать новые контактные линзы, и, когда юноши разглядывали ее (нельзя сказать «пожирали глазами» о профессиональной манере, с которой они изучали ее прелестные глазки), оба поняли, что столкнулись с совершенством.

Будучи не оптиком, не могу сказать, в чем заключалось это совершенство, но каждый из них, по отдельности конечно, впадал в разговоре со мной в лирику, что-то бормотал об оптических осях и диоптриях.

Я со страхом думал о том, к чему это может привести, потому что знал обоих юношей с тех пор, как они надели свои первые очки (Манфред был немного близорук, Эбсалом, напротив, дальнозорок, и оба страдали умеренным астигматизмом).

„Увы, — размышлял я, — Их священная мальчишеская дружба, несомненно, разрушится, потому что оба стали сильными мужчинами и будут сражаться за Эвтерпу. Прижав ладони к сердцу, Манфред говорил, она была “истинным загляденьем”, или, как возглашал Эбсалом, вознеся руки к небесам, “не могла не радовать глаз”».

Но я ошибался. Несмотря на божественную Эвтерпу, оба оптика стали более близки друг к другу, чем рядом посаженные глаза, и достигли идеального согласия.

Они договорились, что по вторникам и пятницам свидания Эвтерпе, если, конечно, они могут встретиться, будет назначать Манфред, а по понедельникам и четвергам такая же возможность будет предоставлена Эбсалому. По выходным же они будут действовать вместе. Водить девицу по музеям, в оперу, в поэтические кафе, угощать скромными обедами в какой-нибудь уютной закусочной. Жизнь превратилась в вихрь удовольствий.

Вы можете спросить: а как же среды? В этом вопросе проявлялось истинное благородство просвещенных молодых мужчин. По средам Эвтерпа могла встречаться с другими мужчинами, если того желала.

Чувство Манфреда было чистым, как и у Эбсалома. Они хотели, чтобы Эвтерпа сама сделала выбор, даже если это означало, что какой-нибудь оболтус, совсем не оптик, будет смотреть в ее глаза, тяжело дышать и лепетать всякую чушь…

Что ты имеешь в виду, говоря, что тебе интересно, кто целует ее сейчас? Почему делаешь преждевременные и ложные выводы, если я пытаюсь последовательно и точно описать все события?

Некоторое время все шло гладко. Не было недели, чтобы Манфред не поиграл с молодой дамой в казино, а на следующий день Эбсалом играл ей волнующую мелодию на обернутой папиросной бумагой расческе. Безмятежные времена.

По крайней мере, так мне казалось.

А потом ко мне пришел Манфред. И мне показалось, стоило только посмотреть на его изможденный вид, что я все понял.

— Бедняга, — промолвил я, — только не говори, что Эвтерпа предпочитает Эбсалома.

(В этом отношении я был нейтрален, старина, и собирался скорбеть, если бы любой из них получил, образно говоря, в глаз.)

— Нет, — сказал Манфред, — этого я не скажу. Пока. Но так долго продолжаться не может, дядя Джордж. Я попал в затруднительное положение. У меня красные и опухшие глаза, а Эвтерпа вряд ли станет относиться с уважением к оптику, глаза у которого не соответствуют нормальным.

— Ты плакал, да?

— Совсем нет, дядя Джордж, — с гордостью заявил Манфред. — Оптики — сильные мужчины, а сильные мужчины никогда не плачут. Просто у меня заложен нос. У меня, понимаешь?

— И часто с тобой такое случается? — сочувственно спросил я.

— В последнее время — да.

— А Эбсалом тоже простужается?

— Да, — ответил он, — но не так часто, как я. У него часто болит спина, а у меня никогда. Ну и что из этого? У мужчины с больной спиной ясные и светлые глаза. Он иногда стонет, периодически не может встать, но это не имеет значения. Но когда Эвтерпа смотрит на мои слезящиеся глаза, на красноту склеротических кровяных сосудов, на воспаленные слизистые оболочки, ее не может не охватывать чувство отвращения.

— Но так ли это на самом деле, Манфред? По общему мнению, Эвтерпа — милая девушка с нежным сочувственным взглядом.

— Не могу рисковать, — мрачным тоном произнес Манфред. — Я не встречаюсь с ней, когда простужаюсь, а это значит, что Эбсалом встречается с ней чаще. Он — высокий гибкий юноша, и ни одна девушка не может без смятения слушать, как он выводит волнующую мелодию на обернутой папиросной бумагой расческе. Боюсь, у меня нет ни единого шанса.

Манфред закрыл ладонями лицо, стараясь не слишком сильно нажимать на воспаленные глаза.

Я испытал эмоции, словно десять обернутых папиросной бумагой расчесок грянули американский гимн.

— Мой мальчик, — сказал я, — возможно, я навсегда смогу избавить тебя от простуды.

Манфред посмотрел на меня взглядом, в котором затеплилась надежда.

— У тебя есть лекарство? Профилактическое средство? Но нет… — Огонек надежды окончательно потух в его покрасневших глазах; выглядел он совершенно больным. — Перед обычной простудой медицина бессильна!

— Не обязательно. Я не только могу вылечить тебя, но и сделать так, чтобы Эбсалом простужался постоянно.

Я сказал это, старина, только ради того, чтобы проверить его. С гордостью могу сказать, Манфред выдержал проверку с честью.

— Никогда! — произнес он звенящим голосом. — Я готов избавиться от этого тяжкого бремени, но только для того, чтобы сражаться честно и встретиться с противником на равных основаниях. Я стал бы презирать себя, поставив его в невыгодное положение. Лучше потерять божественную Эвтерпу, чем сделать это.

— Все будет так, как ты просишь, — промолвил я, пожав ему руку и хлопнув по плечу.

Азазел… кажется, я говорил тебе о двухсантиметровом инопланетянине, которого я могу вызывать из бездонных глубин космоса и который всегда приходит на мой зов. Говорил или нет? Что ты имеешь в виду, утверждая, что я должен говорить только правду? Я и говорю правду, черт возьми.

Так или иначе, Азазел слонялся взад и вперед по краю стола, подергивая тонким хвостом, а его крохотные рожки засветились и посинели от мысленных усилий.

— Ты просишь о здоровье, — сказал Азазел. — Просишь о нормальности. Просишь о состоянии равновесия.

— Я знаю, о чем прошу, о Божественное и Универсальное Всемогущество! — воскликнул я, стараясь скрыть нетерпение. — Я прошу, чтобы мой друг не простужался. Ты с ним встречался. Изучал его.

— А больше ты ничего не хочешь? Только избавить его от этих отвратительных, связанных с мерзкими выделениями из слизистых оболочек простуд, которыми вы, полускотские обитатели этой истонченной червями планеты, постоянно страдаете? Думаешь, можно осветить один угол, не осветив всю комнату? Мне что, показать, насколько сильно и злонамеренно искажено равновесие четырех гуморов в представленном тобой экземпляре?

— Равновесие четырех гуморов? Посвященный, гуморы вышли из моды еще при Геродоте.

Азазел в упор посмотрел на меня.

— А что такое гуморы, по-твоему?

— Четыре жидкости, которые, как считалось, управляют телом: кровь, мокрота, желчь и черная желчь.

— Омерзительно, — сказал Азазел. — Остается только надеяться, что этот Геродот был навеки проклят людьми. Четыре гу-мора — это четыре умонастроения, которые, если их привести в идеальное равновесие, не могут не привести в состояние нормальности и здоровья бесполезное тело даже такого ничтожного паразита, как ты.

— А ты можешь привести в идеальное равновесие гуморы моего кишащего паразитами друга?

— Думаю, могу, но сделать это будет не легко. Я не хочу к нему прикасаться.

— И не надо. Его даже нет здесь.

— Я не хочу вступать с ним даже в астральный контакт. Ведь после этого я должен буду выполнить обряд очищения, который длится почти неделю и может быть весьма болезненным.

— Я знаю об этом, о Суть Совершенства, но ты ведь легко решишь проблему и без астрального контакта.

Азазел, как всегда, просиял, услышав лесть, и навострил рожки.

— Да, смею заметить, легко, — произнес он и не обманул.

Манфреда я увидел на следующий день. Он явно светился здоровьем.

— Дядя Джордж, — сказал он, — эти упражнения с глубокими вдохами, о которых ты мне говорил, очень мне помогли. Простуда исчезла между первым и вторым вдохами. Мои глаза перестали слезиться, краснота пропала, воспаление исчезло, и теперь мне не стыдно смотреть в лицо целому миру. Не знаю, в чем дело, — продолжил он, — но я чувствую себя совершенно здоровым. Я похож на хорошо смазанную машину. Мои глаза подобны фарам чудесного локомотива, который несется по сельской местности.

Мне даже хочется, — продолжал он, — пуститься в пляс под какой-нибудь зажигательный испанский ритм. Я обязательно сделаю это и тем поражу божественную и неземную Эвтерпу.

Он вышел из комнаты, пританцовывая, отбивая чечетку и тихонько напевая:

— Ай, ай-ай-ай.

Я не смог сдержать улыбки. Манфред был не таким высоким, не таким гибким, как Эбсалом, и, хотя все оптики отличались классической красотой, Манфред не подходил под этот стандарт. Он выглядел прекраснее, чем Аполлон Бельведерский, но не был таким красивым, как Эбсалом.

«Здоровый цвет кожи, — подумал я, — восстановит равновесие».

Так получилось, что я вынужден был на время уехать из города из-за спора, который возник с букмекером, оказавшимся невосприимчивым к логике мелким бесом.

Когда я вернулся, то сразу же увидел поджидавшего меня Манфреда.

— Где тебя носило? — спросил он раздраженным тоном.

Я с тревогой посмотрел на него. Он выглядел здоровым и бодрым, глаза были светлыми, подернутыми влагой, и тем не менее, тем не менее…

— Мне пришлось уехать, чтобы отдохнуть от дел, — сказал я, не вдаваясь в подробности, — но что с тобой, мой мальчик?

— Что со мной? — спросил он и невесело рассмеялся. — Что могло случиться со мной? Прекрасная Эвтерпа сделала выбор, но он пал не на меня. Она выходит замуж за Эбсалома.

— Но что произошло? Надеюсь, ты не подхватил…

— Простуду? Конечно нет! Я пытался заболеть, понимаешь? Ходил по улицам под холодным проливным дождем. Надевал мокрые носки. Общался с людьми, которые страдали ринитом. Клянусь Богом, я даже пытался заразиться конъюнктивитом. Я делал все, чтобы заболеть.

— Но я тебя не понимаю, Манфред. Почему ты хотел заболеть?

— Потому что у Эвтерпы оказалось очень сильное материнское чувство. Очевидно, такое часто встречается у человеческих существ женской разновидности. А я этого не знал.

Я помрачнел. Я слышал о таком. В конце концов, у женщин рождались дети, и я знал наверняка, что дети всегда болели, истекали соплями, чихали, кашляли, бились в лихорадке, плакали и всеми другими способами становились омерзительно больными. И это никогда не влияло на любовь матери, скорее даже наоборот.

— Я должен был это предусмотреть, — сказал я задумчиво.

— Ты ни в чем не виноват, дядя Джордж. Я сразу же прекратил делать дыхательные упражнения, но и это не помогло. Все дело в бедняге Эбсаломе. Его подвела спина, он оказался буквально прикованным к постели.

— Полагаю, он не притворялся?

Манфред с ужасом посмотрел на меня.

— Притворялся? Оптик? Дядя Джордж! Профессиональная этика такого не допускает. Как и наша крепкая дружба. Кроме того, я как-то раз неожиданно налетел на него, и это заставило его сесть. Такой крик от мучительной боли невозможно симулировать.

— И это повлияло на отношение к нему Эвтерпы?

— Невероятно. Она постоянно сидела у его постели, кормила его куриным супом, следила за тем, чтобы ему часто меняли теплый компресс на глазах.

— Теплый компресс на глазах? А это еще зачем? Насколько я помню, у него болела спина.

— Да, дядя Джордж, но мы сами научили Эвтерпу, что любое лечение начинается с глаз. Как бы то ни было, она заявила, что считает целью своей жизни заботу о Эбсаломе, о его выздоровлении, счастье и покое, и с этой целью должна выйти за него замуж.

— Но, Манфред, это ты постоянно страдал от простуды. Почему она…

— Потому что я избегал ее, не хотел ее заразить, не хотел увидеть холодный взгляд отвращения, который, как я считал, должен был появиться в ее глазах. Как я ошибался! Как ошибался!

Манфред ударил себя кулаком по голове.

— Ты мог притвориться… — начал было я.

И увидел надменную улыбку на его лице.

— Оптики не ведут двойную жизнь, дядя Джордж. Кроме того, по непонятной мне причине, как я ни старался выглядеть больным, получалось не слишком убедительно. Я просто выглядел слишком здоровым. Нет, я должен смириться, дядя Джордж. Эбсалом, как истинный друг, попросил меня стать шафером.

Так и случилось. Манфред был шафером и так и остался холостым. Иногда мне казалось, что он смирился со своей печальной судьбой. В конце концов, у Эбсалома сейчас три несносных ребенка, Эвтерпа набрала вес, голос у нее стал пронзительным, а поведение — несколько экстравагантным.

Недавно я сказал об этом Манфреду, на что он только вздохнул и ответил:

— Наверное, ты прав, дядя Джордж, но если оптик полюбил, то полюбил навсегда.

Закончив повествование, Джордж сентиментально вздохнул.

— Странно, — сказал я, — но единственного оптика, которого я знаю достаточно близко, никто никогда не видел без женщины, и никто никогда не видел его с одной и той же дамой дважды.

— Мелочи! — сказал Джордж, небрежно махнув рукой. — Я рассказал вам эту историю только для того, чтобы убедить, что я могу избавить вас от синусита. За каких-то двадцать долларов.

— Нет! — резко ответил я. — Моя жена, которую я очень сильно люблю, врач и находит извращенное удовольствие в том, чтобы лечить меня. Если вы избавите меня от хвори, скорее всего, она сойдет с ума. Послушайте, я дам вам пятьдесят долларов, только оставьте меня в покое.

Разумно потраченные деньги.